

Понятно, что эта идея не может импонировать революционерам. Но либерализм вызывает ненависть и в противоположном лагере. Ультраконсерватор К. Леонтьев, о котором уже шла речь, настолько панически боялся западного либерализма, что готов был пойти на союз с Китаем и мусульманским Востоком для борьбы с Европой - рассадником либеральных идей.

Выше уже упоминалось о полемике либералов с "Вехами". Основным тезисом их сборника "Интеллигенция в России" стало утверждение, что авторы "Вех", справедливо увидев много негативного в русской интеллигенции, не смогли различить то полезное для России, что было совершено теми же Радищевым, Белинским или Герценом, т.е. их противостояние казенной Церкви, казенной государственности и казенной народности -

"...во имя свободы совести, права и освобождения миллионов крестьян от крепостной и экономической зажимности", /71, с.211/

- напоминает "веховцам" лидер кадетов И.Петрункевич в статье "Интеллигенция и "Вехи".

Проблема "отщепенчества" рассматривается оппонентами /"Вехами" и "Интеллигенцией в России"/ с различных точек зрения. Член кадетского ЦК П.Огрове, пытаясь отделить либерализм от интеллигенции, пишет на страницах "Вех", что

"...весь русский либерализм - и в этом его характерное отличие от славянофильства - считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенческая суть интеллигента ему совершенно чужда". /91, с.143/

Другой видный член ЦК партии кадетов, П.Милуков, отвечает ему в статье "Интеллигенция и историческая традиция" из сборника-оппонента:

"Действительно, если не всё, то многое в утверждениях об "отщепенчестве" русской интеллигенции есть истинная правда". /58 /58, с. 315/

Однако Милуков оговаривается, что это самое "отщепенчество" было следствием не безрелигиозности интеллигенции, а ее отвращения к официальной Церкви; "отщепенчество" от государственности - лишь противостояние с конкретным государственным аппаратом; "отщепенчество" от национальности - лишь стремление к национально-культурному равноправию всех народов России. Вероятно, оба и были правы, только один разумел исключительно радикалов под именем интеллигентов, другой же - либералов среди них.

Еще один автор "Интеллигенции в России", проф. Н.Гредескул, считает основной идеей интеллигенции /"моноидеей", по его выражению/ **н а р о д н и ч е с т в о** - не в специфическом, а в общем значении этого слова, т.е. стремление к уравниванию в правах. Мечта о всеобщем равенстве отодвинула в сознании русского интеллигента все другие идеи - идеи Бога, собственного "я", истины, красоты - "на второй план" или даже "в дальний угол". Эту, вполне либеральную идею, в штыки принимает самый индивидуалистический мыслитель "Вех", Николай Бердяев, который гораздо позже, в книге "Философия неравенства" /1923 г./ напишет следующее:

"Свобода и равенство несовместимы. Свобода есть прежде всего право на неравенство. Равенство есть прежде всего посягательство на свободу". /11, с.148/

Это, конечно, не вписывается в концепцию либерализма об ограничении моральными и правовыми рамками. Свободная воля личности, считают либералы, может либо соответствовать требованиям общества /и тогда она вполне легитимна/, либо не соответствовать им. Академик М.Ковалевский пишет в статье "Взаимоотношение свободы и общественной солидарности" из сборника "Интеллигенция в России":

"Всякий индивидуальный акт воли, преследующий цели, согласные с нормами права, может считаться актом юридическим. Если акт индивидуальной воли не вызывается общественной солидарностью, он лишен юридического значения". /36, с.281/

П. Милоков, пытаясь оспорить утверждение, что интеллигенция - исключительно русское явление, указывает, что и Европа /он приводит примеры Германии и Франции первой половины XIX века/ тоже имела интеллигенцию, но в определенный, сравнительно недолгий, период. Как ее характерные черты, он выделяет принципиальную оппозиционность, особое самомнение, создаваемое привычкой управлять общественным мнением, попытки осчастливить человечество придуманными системами, борьбу между вождями и т.д.; однако всё это временное:

"Все эти отрицательные явления слабеют по мере развития солидарности и расширения практической приложимости интеллигентского труда". /58, с.297/

Лидер кадетов подчеркивает, что особенно близка к русской интеллигенции интеллигенция английская. Прочитав об этом, читатель, осведомленный о проанглийских настроениях ряда кадетов /в частности, хорошо известно, что друг Милокова, аристократ и богач В. Набоков, был откровенным англофилом/, невольно подумает: а не *l'arsus calami*\* ли это у Милокова? Может быть, он хотел написать о близости русского либерала к своему английскому собрату?

В другом пассаже из статьи Милокова слышится отклик на упомянутые выше обвинения К. Леонтьева об омешанивании быта либерализмом:

"Интеллигенция безусловно отрицает мешанство; мешанство безусловно исключает интеллигенцию". /Там же, с.299/

Но если для дремучего славянофила Леонтьева что либерал, что интеллигент - "всё едино", то Милоков здесь, похоже, уже не допустил описки: интеллигент, этот нигилист-монах, прямо противоположен мешанину. Ну а - либерал?

Вот яркий пример путаницы понятий, свойственной обоим сборникам оппонентов. Может быть, в этой милоковской "практической приложимости", в этом леонтьевском "омешанивании" незримо сквозит нечто позитивистское или материалистическое? Недаром ведь "консервативный либерал" С. Франк писал в статье 1918 года "De profundis - Из глубины":

"...слабость русского либерализма есть слабость всякого позитивизма и агностицизма перед лицом материализма". /102, с.260/

П. Милоков, завершая свою статью, рисует перед читателем картину дальнейших действий интеллигенции, и на этот раз читателю становится совершенно ясно, что лидер кадетов имеет в виду и задачи своей партии тоже. Милоков солидарен с авторами "Вех" в том, что хотелось бы, чтобы всё "ненормальное, патологическое", свойственное интеллигенции, осталось в прошлом. А чтобы это случилось, надо делать прямо противоположное тому, к чему призывают "Вехи": не каяться, не бичевать себя, замыкаясь в келье для молитв к Богу - а трудиться над построением в России правового демократического государства:

"Нужно всеми силами налечь на "внешнее устройство", чтобы довести до крыши просторный, но недостроенный дом. Делая это, мы будем, в сущности, делать то же, что делала всегда русская интеллигенция". /58, с.378/

Теория и практика марксизма /или марксизма-ленинизма, как более точно стали называть эту систему в советское время/ настолько разительно отличались друг от друга, что, рассматривая эту систему, мы отдельно обратимся к теории - марксизму-ленинизму на бумаге, и к практике - марксизму-ленинизму на практике, условно называемому нами "коммунизмом" /не в качестве утопического общества будущего, а в качестве "действий" по его построению/.

Теоретический марксизм стал проникать в Россию по мере возрастания известности К. Маркса и Ф. Энгельса в странах Европы. Первым и его "проводником" в русские умы был Георгий Плеханов, который и перевел основные труды германского тандема. К 1883 году он уже был душой первой марксистской протопартии - группы "Освобождение труда", уже через пару лет удостоившейся сердечной похвалы от "основоположника" Энгельса /Маркс к тому времени уже почил/.

Философская теория марксизма-ленинизма, известная под названием "диалектический материализм", широким кругам постсоветского общества в общих чертах знакома, и излагать ее здесь нет смысла. Остановлюсь вкратце лишь на том, что вызывает в ней сомнения.

Во-первых, это эволюция самой теории: собственно философскими вопросами у "основоположников" занимался в основном Энгельс. В России "бразды" на себя принял Плеханов, а затем его сменил Ленин. После его смерти последовал некий сумбурный период, когда и так, и эдак трактовали в 1925 г. опубликованный на русском языке фундаментальный труд Энгельса "Диалектика природы". Из более или менее серьезных теоретиков "диамата" можно выделить, пожалуй, лишь А. Деборина /правда, подвергавшегося критике Сталиным/ и Б. Быковского. Однако и их, и все дальнейшие построения базировались исключительно на работах Энгельса "Диалектика природы" и "Анти-Дюринг" и Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" и "Философские тетради". Здесь странно то, что почти за столетие не появилось ни одной крупной и фундаментальной работы.

Во-вторых, уже давно было подмечено, что "диамат" основан на твердом убеждении, что "всё существующее есть материя", каковое утверждение на самом деле - произвольное допущение. В то же время, противореча ему, советские философы наделяют основную реальность способностями, "родственными опущению", способностью к творчеству, к имманентному спонтанному развитию. Это дает право Н. Бердяеву справедливо заметить в книге "Генеральная линия советской философии и воинствующий атеизм" /1932/:

"... диалектический материализм марксистов-ленинцев приписывает материи божественные атрибуты". 74, с. 16/

В-третьих, уже на заре ленинизма как нового этапа развития марксизма большевики /А. Богданов, А. Луначарский, В. Базаров, П. Кшикевич/ и примкнувший к ним "буревестник революции" М. Горький, почувствовав слабость энгельсовской "теории отражения", стали подыскивать более современную гносеологическую основу и остановились на теории познания эмпириокритицизма. Их труд, появившийся в 1906 г., уже через пару лет подвергся сокрушительной критике со стороны воинствующего материалиста Ильина, под которым псевдонимом и был опубликован знаменитый "Материализм и эмпириокритицизм" Ленина. Что это, как не отсутствие в рядах марксистов единого понимания теории познания - одной из основ любой философской системы?

В-четвертых, "диамат" и его историко-социологический двойник "истмат" /исторический материализм/ ущербны уже в силу своей "моральной старости": уже XIX веку было понятно, что диалектику, необходимо предполагающую сложность, и материализм, непременно сводящийся к узкой односторонности, соединить практически невозможно, как масло и воду, по словам Н. Лосского. В своей "Истории русской философии" /1951 г./ Лосский выделяет 5 позиций явной односторонности или непоследовательности философии марксизма-ленинизма:

- 1/ монизм "диамата" - истина же в синтезе монизма и плюрализма;
- 2/ односторонний реализм "диамата", допускающий лишь пространственное и временное бытие - истина же в синтезе пространственно-временных и непространственно-невременных элементов;
- 3/ сенсуализм "диамата", сводящий всё содержание опыта к чувственным данным - а в опыте сочетаются чувственные и сверхчувственные данные;

4/ объявляя диалектику Гегеля абстрактной, "диамат" проповедует конкретную диалектику, но, имея в виду чувственную реальность цвета, звуки и тп., вне связи с остальным богатым и сложным содержанием мира, он обедняет и абстрагирует эти реальности, сводя их к подобиям математических идей;

5/ "истмат" надоедлив и поверхностно-бесполезен, т.к. всё многообразие, всю глубину духовных устремлений, имеющих непреходящее значение, он сводит к дежурным схемам и штампам типа "феодальной системы", "буржуазного общества", "классовой борьбы", "развития торгового капитала", "сопротивления землевладельцев" и т.д. и т.п.

И наконец, в-пятых, большевики именно потому так цепко и судорожно, *per fas et nefas*, цепляются за материализм, что он наиболее тесно связан с атеизмом, а уж без последнего совершенно невозможно культивировать их религию ненависти и подавления. Ведь марксизм в большевистском понимании есть не ненависть к неудовлетворительным учреждениям прошлого, а к его живым личностям: буржуа, дворянам, духовенству, офицерству, интеллектуалам. А ненависть к любой человеческой личности, говорит христианство - сатанинское чувство.

Такова, в общих чертах, теория, о которой Ленин позднее, уже существенно "переработав", "обновив" и "приспособив" ее, невинно обронил:

"Но мы все-таки марксизму немножко учились". /43, т.42, с.211/

Большевики всегда гордились тем, что от теории до практики у них недалеко. А "недалекая" практика марксизма-ленинизма вырисовалась уже в самом начальном, еще вполне "вегетарианском" периоде его существования. Тогда Маркс, Энгельс и вслед за ними Плеханов еще только писали об этой практике, сводящейся, конечно, прежде всего к оружию:

"Чтобы победить их, надо уметь бороться с ними философским же оружием... Философский идеализм является теперь консервативным /в социальном смысле/ духовным оружием". /72, т.2, с.294/

Так пишет Плеханов, чутко уловив идею "основоположников" о борьбе и оружии. Но как бы не велика была ненависть просвещенных марксистов к буржуа, дворянам и духовенству, в одиночку бороться невозможно. Для этого нужны "массы", пролетариат, и тогда это "битие стекол" превратится в настоящую революцию:

"Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами". /53, т.1, с.422/

Маркс, как видим, уже понес теорию в "массы", а у Энгельса эти массы уже занимаются практикой, т.е. революцией. И, заметим, вполне удовлетворяя личную ненависть сына текстильного фабриканта /вот откуда у ленинцев это персонализированное чувство конкретно ненависти!/:

"Я ненавижу его /короля Пруссии - С.К./ так, как кроме него ненавижу, может быть, только еще двоих или троих; я смертельно ненавижу его... От государя я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты революцией". /52, сс.337, 338/

Наконец все "сместалось" в голове у страстного марксиста Ульянова: несчастный Фридрих-Вильгельм Прусский, свой, отчужденный царь /пале-ньку которого безуспешно пытался убить старший брат Сама/, а также

\* "всеми правдами и неправдами" /лат./ - брала из Тита Ливия

все конкретные буржуи и банкиры, помещики и буржуазные интеллигенты. И вот он, спустя 56 лет после мирной и естественной кончины государя прусского, столь ненавидимого любимым учителем Энгельсом, и спустя ровно 30 лет после повешения брата Александра, идет "другим путем", как завещал учитель и как сам он обещал маменьке в день казни брата:

"Пролетариат должен провести до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раздавить силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии". /43, т. II, с. 90/

Но этого русским марксистам мало: даже границы огромной Российской империи, внутри которых они успешно разогли столь желанную им гражданскую войну, стали тесноваты. И Ленин обращает свой пророческий взор за рубежи родины:

"Не только вероятны, но и неизбежны в эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и полукolonий". /43, т. 30, с. 6/

И что же? Англичане, французы, голландцы, бельгийцы и португальцы мирно и цивилизованно расстаются с бывшими "заморскими территориями" - и вот тогда уж, действительно, начинаются драки, но только уже между бывшими колониями /Индия-Пакистан, Израиль-палестинцы/ или внутри них /Лигерия-Биафра, Вьетнам и Корея: Север-Юг, Ангола, Мозамбик, Чад, Судан, Шри Ланка: различные вооруженные группировки, как и во многих других молодых государствах Азии и Африки/.

Но и национального освобождения русскому прозорливцу недостаточно. Надо все страны привести к общему знаменателю, т.е. к коммунистическому правлению:

"Все нации придут к социализму, это неизбежно". /43, т. 30, с. 123/

Здесь небольшая заминка: если под социализмом понимать то, что построено, например, в Швеции, или в Канаде, или в Швейцарии - то дай нам Бог всем такого социализма. Если же /а есть подозрение, что это именно так/ пророк большевизма имел в виду то, что было построено в бывшем СССР и в других странах под руководством коммунистов, то тут пророчество, мягко говоря, находится в противоречии с реальностью: вымирающая от голода Эфиопия от такого социализма отказалась, все европейские страны бывшего "лагеря социализма" вышли из лагеря на свободу, а полуголодные Куба и Северная Корея - слишком невыразительное подтверждение пророчества.

Но тогда, опьяненные неожиданной победой и полнотой единоличной власти, большевики грезили о всемирной революции, строили теории искусственного разжигания коммунистических мятежей по всему земному шару /теория "перманентной революции" Льва Троцкого/. Советские поэты вдохновенно пели о ленинском "Декрете о земле", перекочевавшем от березовых рощ к субтропическим оливам:

"Я хату покинул, пошел воевать,  
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать".  
/М. Светлов, "Гренада"/

И через полвека этот "перманентный" зуд насильственного насаждения коммунистического "счастья" не унялся - с новой силой вспыхнул в пламенном сердце аргентинца Че Гевары, который покинул на Кубе друга Фиделя и жену с детьми и пошел воевать, чтоб землю в Боливии крестьянам отдать. Где и погиб - конечно, героически.

Но это было гораздо позже? Пока же наша летопись марксизма-ленинизма остановилась на непосредственно-практическом применении теории на русской почве. К этому мы и обратимся, предварительно рассмотрев анархизм и нигилизм, обильно обогатившие "сухую теорию" марксизма вполне живой практикой.

**§ 8. Анархизм и нигилизм.** Когда касаешься темы русских радикальных движений, которые в силу особенностей русского характера рано или поздно становятся не просто радикальными, но прямо экстремистскими, невольно вспоминаешь рассказ Ивана Бунина о посещении им банкета в честь открытия выставки финских художников в Петрограде в апреле 1917 года.

Присутствовали члены Временного правительства, иностранные дипломаты, деятели искусства и литераторы, в том числе Максим Горький и Владимир Маяковский со своими сподвижниками-футуристами. Маяковский, очевидно, был агрессивно настроен: начал с того, что вдвинул свой стул между Буниным и Горьким и стал есть с их тарелок и пить из их бокалов. Горький хохотал, Бунин отодвинулся подальше. Тут для официального тоста поднялся министр иностранных дел П. Милюков. Но Маяковский влез на стул и что-то "похабно заорал", а Милюков, разведя руками, сел. Тогда поднялся французский посол - в надежде, что теперь-то русский хулиган притихнет. Как бы не так! "Маяковский, - пишет Бунин, - заорал пуше прежнего". Сподвижники поддержали лидера, заорали и затопали ногами. Утихло всё лишь тогда, когда весь этот гам перекрыл "воистину трагический" /Бунин так и пишет/ вопль какого-то финского художника: смертельно бледный и смертельно пьяный с непривычки, он, видимо, хотел как-то выразить свое отношение к этому свинству, но знал лишь немногие русские слова, а потому и кричал истошно одно из них: "Много! Много! Много-о-ого!"

Уж и правда - "много" лишнего может позволить себе русская душа. Однако не всякая: на "extreme"\* способен далеко не каждый. И тут не так важно - "красный" он или "белый" - важнее, как он проявляет свою "красноту" или "белизну". Семен Франк в статье 1939 года "По ту сторону "правого" и "левого" писал:

"Практически крайне важно, что различие в этом смысле между "правым" и "левым" менее существенно, чем различие между умеренностью и радикализмом". /104, с. 227/

Кто же были эти русские радикалы, какие катакомбы породили эти секты "мучеников за веру"? Немец Освальд Шпенглер, опубликовавший после 1-й мировой войны свой сенсационный труд *Der Untergang des Abendlandes* /"Упадок Запада"; традиционный перевод - "Закат Европы", 1922 г./, в котором писал о них так:

"Молодые люди довоенной России, грязные, бледные, возбужденные и постоянно занятые метафизикой, всё созерцающие глазами веры, хотя бы речь, по видимости, шла об избирательном праве, о химии или о женском образовании, - ведь это же иудеи и ранние христиане эллинистических больших городов, которых римлянин рассматривал с такой насмешкой, с отвращением и с тайным страхом". /123, с. 31/

Нет, Шпенглер не оговорился: именно "с тайным страхом". Но почему для всех русских радикалов, будь то анархисты, народовольцы, нигилисты или террористы-эсеры, самым святым словом была С в о б о д а. Что же опасного может быть в кучке чудаков, подпольно /"катакомбно"/ поклоняющихся светлему идеалу свободы? В том-то вся и загвоздка, что свободу эту каждый из них видит по-своему: для анархиста это свобода от всякой власти над ним; для народовольца - свобода от самодержавия; для нигилиста - свобода от нравственности и права; для эсера - свобода от конкретных, наиболее "реакционных" деятелей царского режима. Правда, все они хотят этих свобод для одного и того же - русского - народа.

И вот это-то и есть самое страшное: искать свободы вне самого себя еще и при помощи самых радикальных средств, - значит навеки стать рабом, отказавшимся от истинной свободы - той, о которой говорил в

\* экстрим, крайность /англ./

своем эссе "О свободе воли" /1841 г./ Артур Шопенгауэр:

"Если мы... признали, что человеческое поведение совершенно лишено всякой свободы и что оно сплошь подчинено страшной необходимости, то этим самым мы приведены к точке зрения, с которой получаем возможность постичь истинную моральную свободу, свободу высшего порядка". /120, с.116/

"Отец" русского анархизма Михаил Бакунин был в юности страстным гегельянцем и консерватором, но с начала 40-х годов XIX века перешел на позиции пропаганды абсолютной свободы и проповеди разрушения всего "отжившего". Теперь, не менее страстный материалист, он призывал довериться "вечному духу", ломающему и разрушающему, ибо страсть к разрушению есть страсть творческая. Он писал, что освобождение возможно 1/ на основе атеизма и материализма; 2/ на основе отмены частной собственности и передачи земли общинам крестьян, а заводов - ассоциациям рабочих; 3/ на основе ликвидации брака и семьи и организации общественного воспитания детей; 4/ на основе превращения всего общества в свободный союз свободных общин.

Позвольте, - скажет эрудированный читатель, - но ведь это нечто напоминающее проповедь нигилистов в гениальных "Бесах" Федора Достоевского! И будет совершенно прав: радикальные концепции в своих экстремистских проявлениях зачастую похожи как две капли воды, и проиллюстрировать анархизм можно цитатой из этого самого романа. Персонаж "Бесов" Шигалев

"...ждал разрушения мира и не то, чтобы когда-нибудь, а совершенно определенно, так этап послезавтра утром".

Но над всем этим хаосом разрушения и содомии - чистое знамя Свободы. Выше уже упоминалось о свободе радикалов - вне их самих, вне личности вообще, а ведь даже вся жизнь, посвященная бескорыстному служению безличным ценностям, есть жизнь пустая для себя и опасная для окружающих. Н. Бердяев так писал об этом в книге "Философия неравенства" /1923 г./:

"Предел анархизма - пустая свобода. Предел социализма - пустое равенство". /II, с.203/

Интересно, что деятельность второго великого анархиста России, князя Петра Кропоткина, протекала во вполне мирной, уютной тиши кабинета, в сорокалетней эмиграции. Вернувшись в Россию в 1917 г., князь ужаснулся царящему в ней произволу, неприкрытому насилию, и при встрече с Лениным попытался было втолковать ему что-то высокоморальное... Умер аристократ-анархист в 1921 г., в нищете и одиночестве, в голоде и холоде, покинутый и революционной властью, и толпами восторженных поклонников, всего четыре года назад встречавших его как кумира и символ. Кстати, последняя книга, дописываемая им при свете коптилки, рядом со старой княгиней, подбрасывавшей книги в "буржуйку", называлась... "Этика".

Если этот аристократ и энциклопедист /князь Кропоткин был всемирно признанным географом, геологом, историком и философом/ шел от анархизма к нравственности, то другой аристократ, граф Лев Толстой, шел в прямо противоположном направлении. Испытав глубокий духовный кризис, он вдруг отрекся от таких своих шедевров, как "Война и мир", "Анна Каренина" и других, и выступил с проповедью нехристианского /в сущности, скорее, не-христианского/ учения, названного толстовством. Это анархо-нигилистическое учение было враждебно государству, Церкви и культуре, будучи сосредоточено на непротавлении злу, "опрошении", требовало немедленного и полного осуществления абсолютно-го добра в этой земной жизни.

Еще задолго до своего духовного кризиса, в 27-летнем возрасте, молодой граф писал /не открыто, а в дневнике от 4 марта 1855 г./, что в жизни своей хотел бы осуществить некую мысль:

"Мысль эта - основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле". /95, с.150/

Восхотел граф стать пророком, а то и богом новой, земной во всех отношениях, религии. Воистину, *Initium omnis peccati superbia!*\*

Уже после кризиса Толстой формулирует свои взгляды в ряде публицистических и искусствоведческих работ, среди которых выделяются фундаментальные "Исповедь", "Так что же нам делать?", "Рабство нашего времени", "Что такое искусство?", "О Шекспире и о драме". Он пишет, что весь строй жизни людей "подлежит разрушению" /знакомые слова, не правда ли?/: соревновательный строй следует заменить коммунистическим, т.е. капитализм заменить социализмом. Православная Церковь "обманывает и обирает" народ - взамен граф предлагает некую несуразную амальгаму христианства, буддизма и руссоизма /от Жан-Жака Руссо/. В области эстетики он восхищается полупублицистическими произведениями третьестепенных авторов, с позиций мешанской, пуританской посредственности злобно издевается над Вагнером, Шекспиром и Верленом...

И что же? Его проповедь находит отклик! И не только в образованной среде, что самое страшное. Толстой действительно стал, как и мечтал в молодости, пророком "новой религии" и даже не просто "зеркалом", по справедливому определению Ленина, но и к а т а л и з а т о р о м русской революции. Еще один неохристианский мыслитель, Николай Федоров, говорил, что Толстой требует "не-думания" и "не-делания", "разрушает иконостас Бога и создает иконостас себе" - ссылаясь на проскользнувшую в 1883 г. толстовскую реплику: "Я - Бог".

О нигилизме и анархизме Толстого говорят многие русские авторы. Василий Розанов в 1912 г. отмечает "русскость" толстовства, его близость к негативной народной стихии:

"Непротивление злу" не есть ни христианство, ни буддизм: это действительно есть русская с т и х и я ... Единственные русские бунтовщики - нигилисты". /74, с.40/

Н. Бердяев, посвятивший <sup>Толстовству</sup> часть своей статьи в сборнике 1918 года "Из глубины" - "Духи русской революции", считал, что, выражая непротивленческую, пассивную сторону русского национального характера, оно "расслабило русский народ", и этот анархизм, эта толстовская вражда к государству "одержали победу в русском народе". Именно поэтому, пишет Н. Бердяев,

"Толстой оказался источником всей философии русской революции. Русская революция враждебна культуре... она хотела бы истребить весь культурный слой наш, утопить его в естественной народной тьме... Это Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Он много сделал для разрушения России". /6, сс.83,84/

В дневниках датского философа Сёрена Кьеркегора находим мысль, созвучную нашей антитезе князя Кропоткина и графа Толстого:

"Лодный путь пролегает вот прямо перед нами - реформировать, стремиться изменить весь мир, вместо того, чтобы пробудить себя самого". /42, с.396/

В 1950 году, в послевоенной, уже вполне благополучной и уютной Европе, выходит книга одного из самых знаменитых философов Германии, Мартина Хайдеггера, - "Лесные тропы". Там читатель мог найти совершенно неожиданный пассаж:

\* начало всякого греха - гордыня /лат., Аврелий Августин Блаженный/